

Михаил Эпштейн

Автоноография. Фрагменты

Autonoography. Fragments

Если это и будет автобиографией,
то автобиографией философской, историей
духа и самосознания.

Н. Бердяев. *Самопознание*

ПАРАДОКС АВТОБИОГРАФИИ.

Автобиография... Всего одно слово, а как много оно вместило противоречий! Логическая ошибка — считать, что присоединение “авто” к словам “биография” или “портрет” ничего не меняет в этих жанрах, кроме темы. Меняется все. Разве автобиография — это жизнеописание? Ведь жизнь пишущего еще не завершилась, и значит, автобиография, в противоположность биографии, это не описание состоявшейся жизни, а проект ее продолжения, обращенный к фактам прошлого для создания возможностей будущего (в том числе, посмертного). По мере приближения автобиографии к той точке времени, где расположен сам автор, перо останавливается, а часы продолжают тикать, и остается только время от времени подклеивать быстро желтеющие полосы к устаревшему тексту, как делает Солженицын в “Теленке” и его продолжении “Зернышке”. Таким образом, автобиография — это жанр, во-первых, принципиально слоистый, лоскутный; во-вторых, незавершенный и незавершимый (мало кому удастся поставить последнюю точку в момент испускания духа); в-третьих — “задыхающийся”. Автор бежит вдогонку за уходящей жизнью, а жизнь, между прочим, особенно быстро утекает, пока он ее описывает, так что все равно не удастся свести концы с концами, свое “авто” и свое “био”.

Так же и автопортрет должен включать фигуру художника в момент создания автопортрета. Автор рисует себя, рисуя себя, рисуя себя... — перспектива уходит в бесконечную зеркальную галерею саморефлективных образов. Чтобы соответствовать своей жанровой задаче, автопортрет должен строиться как фрак-

тальный узор, каждый завиток которого бесконечно делится и в мельчайшем фрагменте воспроизводит себя.

Итак, автопортрет либо просто невозможен, либо бесконечно множим, т. е. невозможен вдвойне. Нет ничего более таинственного, чем “авто”, свойство “быть собой”, иметь свое “я”. В утверждении Декарта: “я мыслю, следовательно, существую” — обычно обращают внимание на корреляцию мышления и существования, но эта фраза не имела бы никакого смысла, если бы вместо “я” там стояло “он” или “они”. “Он мыслит, следовательно, существует” — нелепость, ибо существование другого подтверждается не его мышлением, о котором я ничего не знаю, а тем, что я зрительно, чувственно воспринимаю его. Значит, в декартовой формуле самое важное — “я”, его соотнесенность с самим собой: я мыслю, следовательно, я существую. Я соотношу свое мышление со своим существованием. Собственно, “я” — это и есть точка такого скрещения мысли и бытия.

Автобиография, где человек осмысляет свою жизнь, — это не только литературный жанр, но и модус осмысленного существования. По Сократу, неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать. Пока я существую лишь за пределами своей мысли, я еще не стал самим собой, я еще чужой для себя.

АВТОНООГРАФИЯ

Есть такая разновидность автобиографии, которая не только осмысляет жизнь, но и раскрывает жизнь самой мысли. Если биография — это описание жизненных событий, последовательность биограмм, то *ноография* — описание умственных событий, совокупность ноограмм (греч. νόος — ум, разум). *Ноограмма* — это единица осознания, мыслительный прорыв, обобщение или озарение. Соотношение здесь такое же, как между биосферой и ноосферой. Соответственно, *авто-ноо-графия* (*autonoography*) — это личная история мышления, открытий себя и мира. Это и есть полнейшее воплощение декартова “мыслю, следовательно, существую”: события жизни вытекают из событий мысли или перетекают в них.

Высшая смысловая точка автоноографии — *автодицея* (autodicy): оправдание своего бытия, главная цель каждого существования: почему я, зачем я нужен? Не “в чем смысл жизни”, а “в чем смысл меня”? Чем оправдано мое личное бытие? Автобиография, исповедь, дневник — лишь отдаленные аналитические подступы к этой синтетической задаче. Зачем я есмь, был и буду? Есть теодицея, космодицея, антроподицея — оправдание Бога, космоса, человека, — но по этим ступеням приходишь наконец и до *автодицеи*, до самого себя.

Тогда возникает вопрос: что означает “возлюби ближнего как самого себя”? Первая часть этой заповеди несомненна, на ней основана этика. Но почему образцом любви к ближнему поставлена любовь к самому себе? Разве я себя люблю? Разве не больше в моем отношении к себе любопытства, сомнения, стыда, удивления, разочарования? Путь к автодицее может быть еще более долгим и тернистым, чем путь к теодицее и антроподицее.

Ниже — опыт автоноографии в ряде фрагментов.

ОБЛИГАЦИИ. ДЕТСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ.

В детстве одним из приятнейших занятий в кругу семьи была проверка облигаций государственного внутреннего займа. Обычно этим занимался дедушка — и звал меня на подмогу. В какой-то газете, кажется, “Вечерней Москве”, раз в несколько месяцев печатались номера выигравших облигаций. Дедушка доставал список номеров хранившихся у него бумаг — и мы сравнивали два списка. У дедушки на этот случай была припасена большая лупа в металлической оправе, сквозь которую он разглядывал мелкие газетные номера — эту лупу я долго хранил после смерти дедушки и даже привез с собой в Америку, как реликвию. Я особенно радовался, когда первым находил выигравший номер — и победно докладывал об этом дедушке: было чувство, что этот выигрыш — и моя заслуга. А может быть, дедушка притворялся медлительным, чтобы потренировать мою арифметическую смекалку и порадовать внука самостоятельной находкой (мне было лет 7-8). Если выпадал счастливый номер, дедушка вынимал приятно пахнущую (из-под духов?) серую шелковистую коробку, и, внимательно перелистывая, доставал оттуда выигравшие облигации.



Облигация, выпуск 1956 г.

Вид этих красивых бумаг, строго и мелко расчерченных, с цветным тиснением, мне очень нравился — и казалось, что именно так выглядит государство. Это был единственный осязаемый предмет, называвшийся таким именем, и мне казалось, что государство — это нечто очень точное, правильно начерченное и приятно пахнущее. А к тому же, еще и выдающее деньги с какой-то надбавкой, “выигрышем”. Смысл слова “заем” не умещался в моем сознании, как и тот факт, что гражданам навязывали эти облигации: прежде, чем получить редкий шанс на 3% выигрыш, они должны были за них платить. Государство у меня ассоциировалось с порядком и вежеством. Оно выглядит, как строгая колонка цифр. Ко всем оно справедливо, а некоторых еще и балует, как своих любимчиков. Список выигрышных облигаций в газете был как бы приветственным посланием государства своим гражданам — и лично нашей семье.

Впоследствии я свыкся с мыслью Радищева, что государство — “чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй”. Но может быть, в той детской идее была своя рациональность? Государство, которое

сплошь состоит из облигаций (долженствований) по отношению к гражданам и возвращает взятое у них с надбавкой, — где ты?

КНИГА КНИГ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАМЫСЛА.

В тот день, 12 марта 1984 года, я закончил довольно большую работу — “Вещь и слово. К проекту Лирического музея, или Мемориала вещей”, которую готовил к выступлению на весенних Випперовских чтениях 1984 года (Музей изобразительных искусств А. С. Пушкина). А над всем этим проектом, включая создание маленького Лирического музея в квартире моих друзей, я работал почти год.

И вот, поставив точку, я предался по такому поводу законному расслаблению и погрузился в горячую ванну, празднично размышляя о значении неизвестного мне, только что придуманного и нелепого термина “агностический гностицизм” (до сих пор не знаю, что это такое). Вдруг сознание мое распахнулось, в него вошло какое-то большое пространство, в котором ясно представилась книга, вмещающая все возможные термины моего мышления, и не только моего, а как бы всех возможных мышлений, насколько их дано охватить моему сознанию. В этот момент родилась Книга Книг.

Она явилась мне в форме Словаря, в котором все слова и понятия отсылали друг к другу, как бы вспыхивали трассирующими перестрелками. Слова не просто следовали друг за другом на плоскости листа, но пересекались каждое с каждым, определялись друг через друга, то есть это была стереометрическая книга. Каждое слово было выделено курсивом и даже прошито какой-то яркой нитью, которая связывала его напрямую со всеми другими словами — не через поверхность текста, а как бы насквозь, через третье измерение книги.

Особенностью этого Словаря было то, что он заключал в себе не слова, извлеченные из других текстов, а новые слова, которые могли бы стать терминами еще не написанных книг. Причем Словарь содержал не только слова и их определения, но и образцы тех текстов и систем мысли, в которых они могли бы употребляться. Например, к термину “реалогия” (наука о вещах) приводились фрагменты из книги “От объектов к вещам. Введение в вещесло-

вие”, а к термину “религионеры” (солдаты абсолютного сознания) — фрагменты из книги “Мыслитель как воин. Об армиях будущего”. Книга книг была не собранием ранее написанных текстов, но их прообразом, порождающей моделью. Словарь сам развертывался из слов в предложения, из предложений в главы, из заглавий в книги — и становился Книгой Книг.

Книга Книг не имела страниц, переплета — скорее, она предстала как многомерность перелистываемого пространства, легких воздушных путей, несущих от слова к слову, от мысли к мысли. Впоследствии, лет через десять, я узнал это пространство на экране компьютера, когда перед мной впервые замелькали страницы Интернета, перебираемые ударами клавиш. Но даже о компьютерах в 1984 г. у меня было самое смутное представление, а Интернет еще не появился на свет.

Книга писалась на протяжении последующих четырех лет, приливами и отливами, которые продолжались по несколько месяцев и приносили по несколько сот страниц. В эти годы, с 1984 по 1988, происходили главные события в судьбах мира, и мы были в гуще этих событий. Завершалась целая цивилизация, которая готовилась жить долго, была рассчитана на века и тысячелетия, целиком поглотила жизнь наших дедов и отцов, — и вот она кончалась на наших глазах. Этот конец известной нам цивилизации и начало новых, еще неведомых цивилизаций, прежде чем принять видимые очертания, происходили в нашем сознании, как внезапный вихрь догадок, проектов, быстро сменяющихся мировоззрений. Все, что впоследствии обретало плоть партий, церквей, религиозных и культурных движений, государственных органов, литературных сообществ, — в эти годы зарождалось предчувствиями и предмыслиями.

Представьте себе кипение мысли предреволюционного Серебряного века, когда страна сдвинулась со своего исторически обжитого места и поехала в неизвестное будущее... И такой же всплеск и кипение происходили в головах нашего поколения на исходе той эпохи — во второй половине 1980-х. Мысль кипела вдвойне, потому что она еще и охлаждала себя иронией и самоиронией, и заново разогревалась, и превращалась то в лед, то в пар. Это была гамлетовская пора зияния, распавшейся связи времен, которую прихо-

дилось восстанавливать головокружительными полетами воображения. Если смотреть из отдаленного будущего, то, возможно, и Серебряный век не сравнится по накалу ищущей мысли с этими несколькими годами, переходными от молчания к гласности.

В это время я участвовал в создании и работе нескольких клубов и объединений московской интеллигенции. Поэты и математики, художники и физики, филологи и журналисты, писатели и философы... Под сменявшимися названиями и внутри расширявшегося круга людей: Клуб эссеистов, Ассоциация “Образ и Мысль”, Лаборатория современной культуры — действовала одна и та же метафизическая страсть, искавшая отзвуков среди людей, близких и далеких по духу. Каждый из нас приходил и выкладывал свой Проект, свое толкование первых и последних вещей. Мир начинался заново, у него еще не было основы, ее предстояло создать — причем из своей собственной мысли, за отсутствием других осязаемых материалов в стране восторжествовавшего материализма. Дальше в дело пошли бы уже политики, практики, инженеры, банкиры — но, чтобы перевернуть Маркса таким же способом, каким он перевернул Гегеля, нам предстояло поставить грядущий мир на умное основание. Каждый приходил к другим со своей ненаписанной или полунаписанной, неизданной или самиздатовской книгой, которой предстояло стать Библией новых народов, уставом новых партий, манифестом новых искусств, аксиомой новых наук. Если бы не это “многословие” нашей московской среды — первая ласточка будущей многопартийности, многоцерковности и прочих видов плюрализма — и Книга книг не могла бы найти своего импульса, не могла бы наполнить ту радиально-шаровую форму Словаря, в которой она явилась в марте 1984 г. В эту книгу влилось столько потенциальных книг, столько философских волнений, намерений и решений оставили в ней свой след, что в любой другой исторической ситуации форма “Книги в квадрате” оказалась бы пустой абстракцией, волевым экспериментом книжного червя, болеющего несварением массы прочитанных книг.

С 1988 года все это кипение ума стало уже выходить в общественное действие, в политические собрания, митинги, манифестации, и тогда же быстро стала сгущаться какая-то черная безнадежность, как будто мысль отчаялась выговорить себя до конца, изменить что-то в окружающем, — и опять замкнулась в себе. Эпоха метафизи-

зической бури и натиска подошла к концу. Казалось, книга не имеет конца — но страница, которая написалась в апреле 1988 года и называлась “Познание и любовь”, оказалась последней, 1563-й. Больше книга не писалась, пространство, которое она должна была заполнить, сомкнулось вокруг нее, совпало с ней своими границами.

В 1995 году я открыл для себя пространство Интернета — и сразу узнал в нем тот “магический кристалл”, через который впервые увидел даль Книги книг, ее прозрачную многогранность...

СССР. ОПЫТ ЭПИТАФИИ

26 декабря 1991 г., утром после Рождества, я летел из Атланты в Сан-Франциско на конференцию и в полете раскрыл свежую американскую газету. И вдруг...

Два чувства смешались, когда я прочитал, что Советского Союза больше не существует, что флаг его спущен, а президент ушел в отставку. Первое чувство: что все мое прошлое мгновенно унеслось от меня во времени, как оно унеслось в пространстве, кануло в глубь Атлантического океана, над которым я за два года до этого перелетал из Старого Света в Новый. И теперь мое скучное детство, пионерский лагерь, песни у костра, опасные анекдоты, влюбленность под бряцание любительской гитары, вынужденные недомолвки в моих статьях и препирательства с редакторами, — все это наклеилось на пожелтевшую страничку истории, следующую за крепостным правом, революцией и пятилетками. “А вот так жили в Советском Союзе. Была такая страна. Период позднего Сталина... И раннего Хрущева...”

Как странно осязать прямо под своей кожей пыльные отложения веков! Откуда ты? Я родился в Атлантиде. Я родился в Византии. Я родился в СССР... Экзотические слова — отголоски уже немых исторических миров...

И вот уже вежливый голос экскурсовода ведет меня по закоулкам моей памяти. Мгновенно вся моя прошлая жизнь перестала быть личным достоянием и обратилась в музей, открытый равнодушному скопищу потомков. Для этого оказалось достаточно одного сло-

ва: бывший Советский Союз. И вся моя прежняя жизнь, это сорокалетнее блуждание по пустыне в поисках выхода из нее, тоже вдруг оказалась бывшей. Прожитая не столько мной, сколько человеком моего поколения, из тех, ранних пятидесятых, с налетом серости, усталости, ожидания. *Эсесесер*. Сколько оттенков серости рокочат и переливаются в этом слове!

На это первое чувство накладывалось и другое. Не то, что я остался смутной тенью в прошлом этой страны, — а то, что страна эта теперь переселилась в меня. Обосновалась. Во мне живет. Напева-ет вполголоса дивные песни. “Эх, дороги, пыль да туман... Только ветер гудит в проводах... Где закаты в дыму...” Словно эта страна продолжает вещать из меня. Я с ее, советским акцентом, произношу американские слова. С ее, советским недоверчивым прищуром, я озираюсь в американских универмагах. С ее, советской беззаботностью, я ничего не понимаю в американской банковской системе. С ее, советской упертостью, я стараюсь подчеркнуть и обосновать свое особое мнение, хотя никто вокруг его не оспаривает. Раньше как было просто! Эта страна существовала отдельно от меня, страшная, могучая, и всеми силами я старался не быть советским, быть кем угодно — другим: русским, евреем, американцем. Теперь, когда она исчезла с лица земли, я чувствую ее в себе. Я похоронил в ней часть себя, чтобы другой частью она воскресла во мне. И пусть никто уже не живет в советской стране — зато она живет в нас, своих вечных питомцах и посланниках.

В тех, кто остался, она постепенно начнет превращаться в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан... А в тех, кто из нее уехал, она останется навсегда, потому что ей не во что превращаться. Америкой, или Францией, или Израилем ей не стать никогда. Так ловко она выпихнула нас из себя, чтобы в нас надежнее выжить.

Что осталось советского в мире? Москва перестала быть советской. И улица Горького, ныне Тверская. И учебники истории, ныне антисоветские. И Кремль — уже без кумачовых полотнищ. И радио — без марша ударных бригад. В нынешнем мире, где почти не осталось ничего советского, самое советское — это я. Мои ребяческие инстинкты, которых не могут пересилить годы взрослой рефлексии. Моя вера в дружбу народов. Мои попытки вызвать у читателя несогласие со своею собственной мыслью. Моя нелюбовь к

авторитетным цитатам и любовь к многозначительным повторам. Моя любовь к разговорам до одури и до потери своего “я” в “ты” собеседника. Моя неохота встречаться взглядом с прохожими, чтобы они не подумали чего-то и не стали выяснять отношений. Мое чувство строгого и праздничного порядка, возможного на земле, как в те дни, когда под гром репродукторов люди дружно шагают в Май и готовятся обнять друг друга, в отблесках красных знамен и золотых литавр. Мое уважение к учительнице, со значком на лацкане и гладко зачесанными волосами, мое желание слушаться ее всегда и во всем, быть примером. Мое запойное желание вникать в идеи всякого рода, вживаться в них и мало обращать внимания на то, как они вяжутся или не вяжутся с реальностью. Все это — советское во мне.



Первоклассник.

И нельзя сказать, что я это в себе люблю. Но меня без этого нет. А поскольку сказано, что ближнего нужно возлюбить как себя самого, могу ли я не любить себя, пусть через не хочу? Даже и такого, советского от рождения. И пусть я трижды антисоветский и даже постсоветский, все равно, я — последнее пристанище великой страны. Прекратившись исторически и географически, она еще сильнее воспрянула в нас, как метафизическая, вечная родина, как тот пепел, что, утратив свое земное тело, теперь стучит в наше

сердце. Опять и опять обходит память эту погибшую страну, как часовой — мавзолеей, навтыжку, чеканным шагом, которому открывается пустая даль будущего.

ДЕСЯТЬ ЛИЧНЫХ ПРАВИЛ

У каждого есть свои правила, осознанные или неосознанные. Речь не о заповедях: “не убий”, “не кради”, “не лги” — но о тех правилах, которые мы стихийно создаем для себя на основе личного опыта. Интуитивно стараемся следовать им, хотя это не всегда получается. И никто нас за это не осудит, поскольку в этих правилах нет ничего должного, никаких моральных предписаний. Просто у каждого человека — свой способ взаимодействия с жизнью, свой способ чувствовать себя скорее живым, чем мертвым. Поделюсь своим личным “декалогом”.

1. Ничему не противостоять, ни с чем не отождествляться.

У меня с юности, возможно, под воздействием Лао-цзы, но главным образом, как вывод из собственных болезненных взаимодействий с миром, выработалось правило: «Ничему не противостоять, ни с чем не отождествляться». Как только я чувствую, что слишком глубоко влипаю в некое движение, тенденцию, группу, я начинаю отлипать, шевелиться, вылеплять себя из массы. Как только я чувствую, что начинаю намертво, в упор кому-то или чему-то противостоять, я чуть-чуть сдвигаюсь, переношу точку упора, чтобы была возможность маневра, обхода, свободы движения. Моя стихия — текучая середина, чтобы всегда оставалось чуть-чуть места и справа, и слева, чтобы не быть припертым к стене или загнанным в угол. Я стараюсь смотреть на мир двумя глазами, слушать двумя ушами, мыслить обоими полушариями мозга, проговаривать мысль на двух языках.

2. Не увеличивать степень определенности

Нужно довольствоваться той степенью определенности, которая есть в мире. Многие наши провалы, мучения, конфликты с людьми — от попытки определить больше, точнее то, что остается только возможным. Вот человек: думает так-то, смотрит так-то. Но мы не удовлетворены, пока не определим для себя: умен он или глуп, лю-

бит меня или не любит. Не превышай меру определенности, заданную самим предметом, предоставь ему возможность роста и самоопределения, смотри на него сквозь расширяющуюся щель в своей системе категорий. Во всем, что есть и происходит, гораздо больше возможного, чем уже определившегося.

3. Усилие без насилия

Правильные вещи должны делаться относительно легко. Конечно, к ним нужно прилагать усилия. Но если вещи все-таки не делаются, лучше оставить их в покое или по крайней мере подождать, не изменятся ли обстоятельства. Чрезмерные усилия могут привести к результатам, обратным ожидаемым. Если ключ не вставляется в замок, не стоит его туда изо всех сил запихивать: может быть, это ключ от другого замка или замок для другого ключа? Иными словами, нужно следить, чтобы усилие не перешло в насилие над ходом вещей. Если я звоню кому-то, но после двух-трех попыток не могу дозвониться, я оставляю попытки, переношу на следующий день. Может быть, этот человек сегодня не в настроении, устал, занят, измучен жизнью, и ангел охраняет его от моих вторжений. У обстоятельств есть своя логика, поэзия, грация, им нужно доверять, чтобы не превратить их в грозную судьбу, вырастающую против тебя. Не будь мелочен и дотошлив в своих претензиях к бытию, сохраняй за ним право на крупные жесты щедрости и удачи.

4. Приобретать опыт, не теряя души

Одно из главных мучений юности: приобретение наибольшего опыта с наименьшими потерями для души. Опыт ведь можно приобретать в самых злачных местах, посредством самых тоскливых экспериментов. Но при этом теряешь себя ровно в той же степени, в какой приобретаешь этот самый опыт. Для меня это было большой проблемой: нужно ли заставлять себя делать то, что не хочется, ради приобретения опыта? Нужно ли знакомиться с неизвестными девушками, ходить в чужие компании, наращивать социальные связи, притворяться ловким, свойским, общительным — и при этом чувствовать себя одиноким? Так я определял свою цель: приобретать опыт, не теряя души! Но постепенно понимал, что это почти так же сложно, как перейти реку, не замочив ног. Оставалось ходить по краю, по бережку, чтобы ноги замочить, но не утонуть. Этой осто-

рожности, половинчатости я в себе не любил, но таким и приходилось себя принимать: нелюбимым.

5. Недо- лучше, чем пере-

Делать недостаточно лучше, чем чрезмерно. Лучше недосолить, чем пересолить. Можно добавить соль в недосоленное, но нельзя убрать соль из пересоленного. Агент действия более способен к саморегуляции и самоограничению, чем пассивный объект (среда).

То, что ушло в среду, растворилось в ней, уже нельзя из нее изъять, но то, что находится во власти самого индивида, можно увеличивать. Дать дополнительно можно, взять назад — нельзя, оно уже не твое, разошлось по миру. Мету использования ресурса должен определять сам владелец. Если нельзя соблюсти золотую мету, поскольку она неизвестна, то лучше ошибиться в сторону меньшего, чем большего. На вечеринку с неизвестным дресс-кодом лучше явиться одетым чуть более буднично, чем слишком нарядно. Пусть на тебя смотрят скорее сверху, чем снизу. Маленький человек приятнее сверхчеловека.

6. Информация против энтропии

Еще одно правило мне преподала мама, и я с возрастом все больше ценю ее совет: не перегружать других информацией о себе. Не то чтобы никому нельзя доверять, но надо исходить из энтропийности нашей вселенной, где всегда происходят какие-то утечки и расползания. Меняются отношения между людьми, близкие отдаляются, доверенные лица сами доверчивы и делятся с другими... Нет более надежного хранилища сведений о себе, чем твой собственный мозг. Впрочем, несмотря на мое старание следовать этому правилу, я на шкале открытости-закрытости стою гораздо ближе к первой (примерно 7 из 10), и шпион-разведчик из меня бы не получился.

7. Энтропия коллективных действий.

Если для осуществления какого-то проекта привлекается много людей, то на взаимодействие с ними уходит больше времени и энергии, чем на сам проект. Количество участников обратно пропорционально эффективности действия. Особенно если это отно-

сится к взаимодействию на одном уровне координации, например, между членами одного комитета, сотрудниками одного центра. Между выше- и нижестоящими, где действует механизм прямого подчинения, эффективность падает меньше. Сложноподчиненные предложения выразительнее и энергичнее, чем сложносочиненные. Огромная часть энергии уходит на координацию “сложносочиненных” действий команды/группы/коллектива. Я не противник демократии, но вижу ее негативные, энтропические свойства. Например, если я — руководитель центра, но со мной в руководящий совет/комитет входят три других сотрудника, то на согласование наших решений, подходов и критериев, на все эти заседания уходит не меньше, если не больше времени, чем на выполнение прямых задач, стоящих перед центром. Проще всю работу выполнять самому, пользуясь лишь услугами технического сотрудника. Эта социальная энтропия сродни дефекту массы в физике, когда масса ядра оказывается меньше составляющих его частиц, поскольку их энергия тратится на взаимную сцепку.

8. Надеяться, но не обольщаться.

Обольщение — это надежда с гордыней, а надеяться лучше со смирением. Обольщаться — льстить себе: все тебя любят, все тебя знают, все тебе помогут. А надеяться — дай Бог, чтобы хоть кто-то, хоть как-то, хоть чем-то. Надежда ближе к “почти ничему”, а обольщение — к “почти всему”. Поэтому надежды исполняются чаще: чем скромнее, тем реальнее, надежнее. В среднем я бы определил оптимальный уровень надежды в одну пятую от того, что может быть, и тогда уровень ее исполнения может быть даже выше ожидаемого.

9. Сила воли необходимая и достаточная

Какая сила воли необходима и достаточна? Та, что простирается на самого волящего, но не выходит за этот предел. Субъект имморален в двух случаях: если не владеет собой — или если пытается подчинять себе других, не считаясь с их волей. Необходима и достаточна та воля, которая действует в пределах самого волящего субъекта. Пусть моя воля заканчивается там, где заканчиваюсь я сам. Дотягивается до границ моей личности, но за них не выходит. Это не слабоволие, а *себяволие* (не путать со своеволием и самово-

лием). Множество людей не владеют собой, а немногие простирают свою волю на массы людей, даже на целые народы. Порой эти крайности сочетаются. Субъект не может держать себя в руках — и пытается взять в свои руки судьбы других. Студент Раскольников, доцент Соколов... Так возникают “вшивые Наполеоны”: те, кто пытается определить, вошь он или Наполеон, и становится тем и другим. Правило такое: объект воли своими границами совпадает с ее субъектом. Воля должна быть достаточно длинной, чтобы простираться только на самого волящего. Ну еще на детей, пока они дети, или близких людей, если им не хватает своей воли.

10. Спрямять путь, выбирая дальние цели

В жизни все постоянно колеблется: вверх-вниз, вправо-влево, и, если следовать с полным напряжением сил и накалом чувств всем этим зигзагам, жизнь быстро тебя измотает. Стоит вступать в игру лишь на главных поворотах. На больших дистанциях все мелкие повороты усредняются, и если следовать этой рваной линии, туда-сюда, то затратишь столько сил и времени, что на главное их уже не останется. Большинство событий оказываются обманками и пустышками, бытийным шумом. Поэтому лучше выглядывать цели на большом расстоянии и двигаться к ним прямоком, срезая углы петляющих троп.

Materials and Discussions